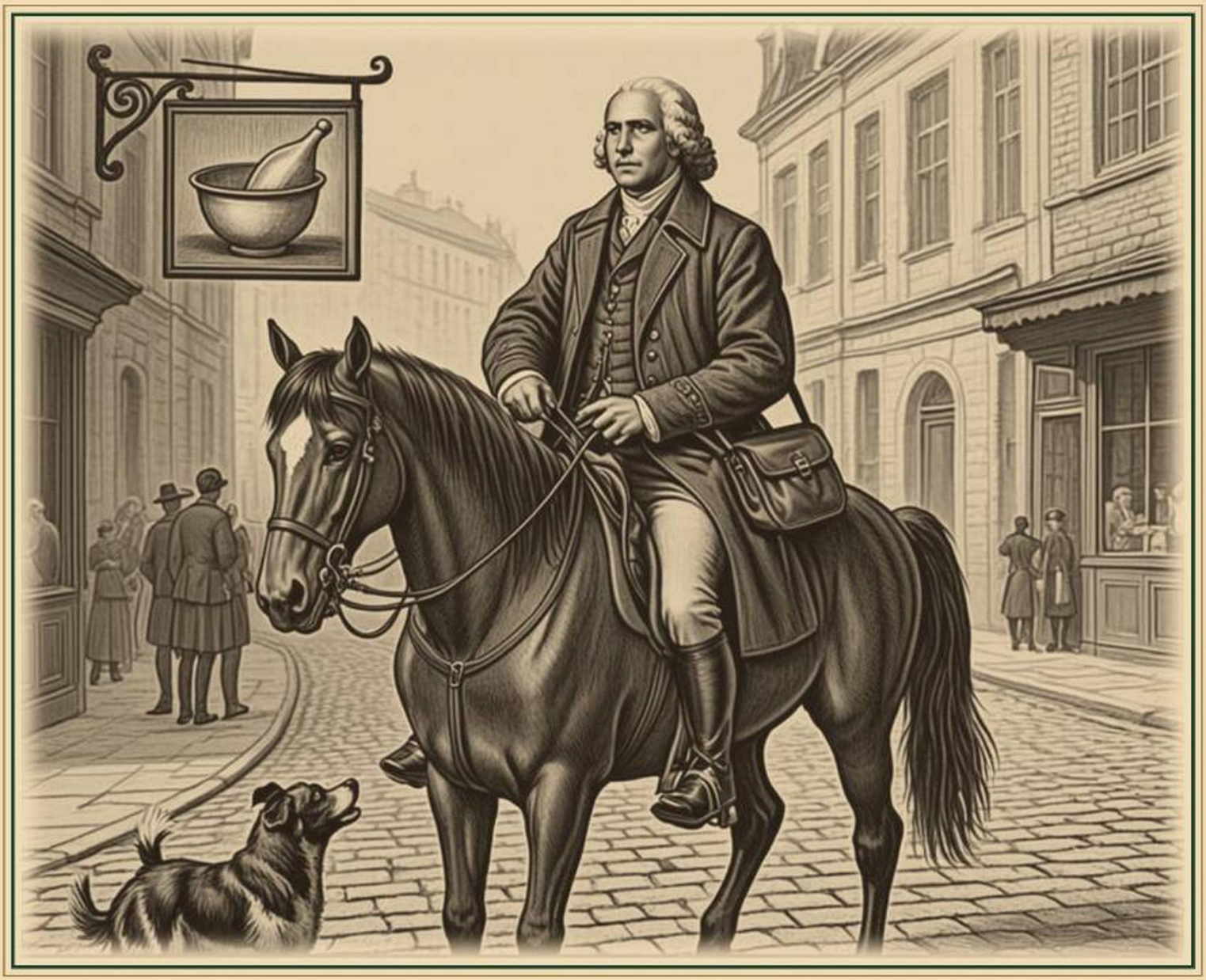
ПОРТЕР ДЭВИС

ВРАЧИ СТАРОЙ ШКОЛЫ

КУРЬЁЗЫ МЕДИЦИНЫ И СТАРИННОЙ ПРАКТИКИ



ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКОГО

ЧИКАГО · 1905

Дэвис Портер

ВРАЧИ СТАРОЙ ШКОЛЫ.
Курьёзы медицины и старинной практики.

«Автор»
2026

Портер Д.

ВРАЧИ СТАРОЙ ШКОЛЫ. Курьёзы медицины и старинной практики. / Д. Портер — «Автор», 2026

«Врачи старой школы» (1905) — весёлый и учёный сборник курьёзов из истории медицины, составленный нью-йоркским врачом Портером Дэвисом. Под одной обложкой — тридцать пять очерков: торжествующий шарлатан и учёный аптекарь, врач у Чосера и «настоящий Шерлок Холмс», деревня Эйм, остановившая чуму, коронованные жертвы оспы, уксус четырёх разбойников, любовные зелья и «колесница антимонии».Здесь и трепанация черепа каменным ножом, и свечи, от которых загорались парики, и кровопускание под псалмы, и первый наркоз, и рецепты, от которых стынет кровь. Но подано всё с интонацией рассказчика у камина: история медицины, рассказанная как собрание баек, — и собранная профессионалами.Читается запоем: врачам — как профессиональный фольклор, историкам — как живой срез эпохи, всем остальным — как увлекательное чтение о том, какими странными и великими были дороги, которыми врачевание шло к современной науке.Перевод с английского: Ю. Ю. Швец.

© Портер Д., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Предисловие составителя 7
Доктор старого времени 8
Курьёзы древней медицины 10
Хирургия и суеверие 13
Врач у Чосера 15
Медицина и мораль 20
Медицина в тёмные века 25
Врачи, оставившие практику 28
Глава I. Учение и литература 29
Конец ознакомительного фрагмента. 38

Дэвис Портер
ВРАЧИ СТАРОЙ ШКОЛЫ. Курьёзы медицины и старинной практики.

ВРАЧИ СТАРОЙ ШКОЛЫ

Курьёзы медицины и старинной практики

Составил д-р Портер Дэвис (Porter Davies)
Автор перевода: доц., к.э.н. Швец Ю.Ю.

Чикаго · Акрон · Нью-Йорк
1905

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие составителя 2
Доктор старого времени 3
Курьёзы древней медицины 4
Хирургия и суеверие 5
Врач у Чосера 7
Медицина и мораль 9
Медицина в тёмные века 12
Врачи, оставившие практику 14
Глава I. Учение и литература 14
Глава II. Политики 19
Глава III. Знаки отличия и обманы 24
Глава IV. Добрый стол и скудная диета 32
Глава V. Гнев, величие, брак и тайна 41
Врачебное сословие в ранней американской литературе 49
Заблуждения медицины 51
Несколько шарлатанов 59
Учёный аптекарь 63
Старая английская литература и медицина 69
Медицинская точность Чарльза Диккенса 76
Старые врачи 76
Открытие наркоза 77
«Чёрная смерть» в четырнадцатом веке 77
Коронованные жертвы оспы 78
Необычные хирургические операции 78
Ранние хирурги 79
Замечательные случаи заразительности 79
Чума 1665 года в Эйме 79
Эпизоды великой лондонской чумы 80
Уксус четырёх разбойников 81
Арабы и чума 81
Рецепт капуцинов 81
Изготовление любовных зелий 82
Польза, извлечённая из алхимии 83
Хирурги, освобождённые от службы присяжными 83
Мудрец-врач 84
Продажа собственного тела 84

Санкторий и его кресло 85
«Колесница антимония» 85
Шотландские черты 86
«Аристофан медицины» 86
Настоящий Шерлок Холмс 87

Примечание. Содержание построено на кодах полей: после правок щёлкните по нему правой кнопкой мыши и выберите «Обновить поле», чтобы обновить номера страниц.

Предисловие составителя

Книга «Врачи старой школы» готовилась с большой тщательностью и объединяет под одной обложкой богатейший материал, собранный из самых разных источников, о «курьезах медицины и старинной врачебной практики».

Ряд оригинальных статей, принадлежащих составителю и другим участникам сборника, печатается здесь впервые.

По характеру своему книга несколько напоминает «Книгу о врачах» (A Book about Doctors) Джона Корди Джеффресона и содержит еще один очерк того же автора, — очерк вполне самостоятельный и не имеющий ничего общего с его прежним изданием.

За любезное разрешение воспользоваться статьями, охраняемыми авторским правом, составитель приносит благодарность издательствам «Харпер и братья» (Harper and Brothers) и «Д. Эпплтон и компания» (D. Appleton and Company), журналам «Нейчур» (Nature) и «Карент литература» (Current Literature), а также Алисе Морс Эрл (Alice Morse Earle) и Фрэнку Риду Фоуку (Frank Rede Fowke).

Д-р Портер Дэвис

Нью-Йорк, 20 декабря 1904 года

Доктор старого времени

Алиса Морс Эрл (Alice Morse Earle)

Я люблю представлять себе богатого и помпезного старинного доктора, выезжающего верхом навестить своих больных: одет он в костюм спокойного бурого или бордового цвета, украшенный большими блестящими пуговицами, сделанными из серебряных монет.

Камзол с широкою юбкой имел большие карманы и откидные клапаны, как и длинный жилет, спускавшийся хорошо за бедра. Довольно коротки были рукава камзола, чтобы показывать белые рюши и оборки на запястьях; но предплечье в холодную погоду было хорошо защищено длинными крагами его верховых перчаток и муфточками-нарукавниками. Короткие, до колен, штаны-бриджи прилично одевали его статные, хорошо сложенные ноги, тогда как тонкие шелковые чулки и башмаки с пряжками выставляли напоказ хорошо обточенные икры и щиколотки. Но в грязную погоду высокие кожаные сапоги заступали место тонких чулок и башмаков, а красивые штаны его были прикрыты сверху длинными штанами из грубой льняной пакли — «щипцами», как их называли. На голове доктор носил треуголку и парик. Он владел целою коллекцией париков и носил их поочередно — с хвостами, в мешочках, пышные «перуки» и короткие «бобы». Дородность и величавость его запечатлены в пышном парике, соперничавшем размерами с париком самого лорда-канцлера; но каждодневный верховой парик его был довольно заурядным изделием из конского волоса, снабженным жестким хвостом в кожухе из угря.

Один парик он потерял при загадочном происшествии, приключившемся с ним однажды, когда он дежурил у больного, который лежал в лихорадочной горячке, — казалось, кризис ее вот-вот наступит. Доктор решил остаться на всю ночь и опустился на стул возле стола в комнате больного. Часы тянулись медленно, одни за другими. Врач, сиделка и хозяйка дома говорили и бормотали без конца; больной стонал, метался в своей постели и тщетно умолял дать ему напиться воды. Наконец в комнате воцарилась тишина; утомленные бодрствующие задремали в своих креслах; доктор клевал носом все глубже и глубже, и его хвост парика в угряном кожухе опасно подбирался к пламени свечи, стоявшей на столе. Вдруг послышался оглушительный взрыв, шипение, треск; и когда дым рассеялся, а перепуганные обитатели комнаты собрались с мыслями, сиделка и хозяйка обнаружились под пологом кровати; доктор стоял, опаленный и с непокрытой головой, высматривая свой парик; а больной, который в суматохе выпрыгнул из постели, завладел кувшином воды, выпил половину его содержимого, а остаток выплеснул доктору на голову, лежал за занавесками кровати и истерически хохотал над нелепым видом служителя медицины. Больному предрекали мгновенную смерть; но он, странное дело, — то ли от смеха, то ли от воды — с той самой минуты начал поправляться.

Перепуганный врач никак не мог решить, приписать ли взрыв и сгорание его парика буйной выходке дьявола, старавшегося заполучить душу больного, могучему влиянию какого-нибудь соединения планет или же новоявленной силе — электричеству, которое д-р Франклин только что открыл, о котором поднимал столько толков и с которым в самое то время так безрассудно возился в Филадельфии.

Доктор решительно порицал предосудительную и неуместную дерзость Франклина, однако почувствовал, что все же лучше написать философу и получить его совет, насколько осуществимо, разумно и удобно устроить на своей врачебной спине один из новых громоотводов, чтобы тот поднимался оттуда вверх сквозь парик, предотвращая тем самым дальнейшие тревожные случайности. Но прежде, чем это было исполнено, тайна взрыва успела разъясниться сама собою.

Когда из Бостона прибыл новый парик доктора, он велел своему слуге-индейцу как следует запудрить его перед тем, как надевать. С ужасом он увидел, что Ноантум щедро осыпает

парик порохом из пороховницы вместо крахмала из пудреницы. Так что взрыв старого парика более не относили на счет ни дьявольских, ни чудотворных, ни метеорологических влияний.

Курьёзы древней медицины

Эндрю Т. Сиббалд (Andrew T. Sibbald)

Необычайной изобретательностью — если только не чем иным — отличались многие из мер, к каким прибегали наши предки, чтобы изгнать лютого демона болезни; а для современного, а посему просвещенного читателя старинная «книга о медицине» — совершенная шахта курьезов, в которой он может найти и здравый смысл, и бессмыслицу, невежество и известную долю сметливости, слепую веру и бесстыдное шарлатанство — все, подаваемое поочередно, а, может быть, и все вместе.

Фармакопея наших предков была и богаче, и беднее нашей, фармакопеи девятнадцатого века. Первая тешилась целым собранием «снадобий», которых было бы довольно, чтобы у всякого современного пациента поднялись дыбом волосы, а Коллегию врачей вогнать в дрожь. Где останавливалась наука и медицинское знание представлялось глухою пустотою, туда смело выступало вперед изобретательное суеверие: оно велело при лихорадке повторять один заговор, а при сломанной кости — другой, прописывало при жаре питье из трав и святой воды, а при подагре — ношение особого, точно указанного амулета.

Во всех «исцелениях», добывавшихся этими мягкими средствами, самая деятельная — хотя, вероятно, и не подозреваемая — сила была, без сомнения, вера. О конституциях наших предков красноречивее всяких слов говорит то, как часто они одолевали свои недуги вопреки тем проделкам, какие выделывали над собою. Старая порода, по-видимому, была по образцу Джо Бэгстока: «Крепок, сударь, дьявольски крепок». Мы, потомки, хоть и щепки того же самого чурбана, утратили то, что, быть может, выиграли в полировке.

Не к одному лишь больному телу — и к уму, недугом помутившемуся, — старались прийти на помощь со своими питьями и своими патентованными снадобьями лекаря и знахарки минувших дней. С прекрасною беспристрастностью они не проводили резкой грани ни между сварливою капризностью и параличом, ни между «суетностями головы», какими бы те ни были, и немочами печени. Они были готовы так же снарядить вас чем-нибудь добрым против действия колдовства или искушений нечистого, как пропоить вас лекарством от кори или научить заговору, открывающему, где бродит пропавший скот. Магия в мягкой форме, будучи неведомым и неизмеримым Х большинства их составов, делала одно дело столь же легким, как и другое, — а исход во всех случаях оставался делом чистого случая.

В «Саксонских снадобьях» (Saxon Leechdoms) Кокейна сообщается, что Демокрит писал о траве, корень которой, скатанный в пилюли и проглоченный с вином, заставлял виновных признаться во всем, терзаемых по ночам странными видениями мира духов. Что за трава для судебного присутствия! Что за бодрящая пилюлька для преступника, которому вот-вот суждено отделаться за недоказанностью вины! Затем Альберт Великий выставляет напоказ гелиотроп, и выясняется, что гелиотроп — тоже трава бесценная, добрая против умыслов тех, кто ходит «на воровство». «Если сорвать ее в августе, — говорит Альберт, — и завернуть в лавровый лист вместе с волчьим зубом, никто не скажет носящему ее ни одного сердитого слова». Это очень хорошо, первостатейно, в самом деле, но и это не все. «Положенный под подушку, он» — то есть гелиотроп — «принесет в видении перед очами человека, которого обокрали, вора и все его пожитки». Почему же, ах, почему, когда ювелирные кражи случаются так часто, мы не уделяем больше внимания чудодейственному гелиотропу? Буквица, сообщают нам, охраняет человека от «чудовищных ночных гостей и страшных сновидений»; иными словами, она прогоняет ночной кошмар. Она же препятствует опьянению — как и омлет, сделанный из ушей ушастой совы.

Среди бессчетных других рецептов против лихорадки есть один, объявляющий «маленькое животное, что сидит и ткет с целью ловить мух, — перевязанное тряпицей вокруг левой

руки» средством, рекомендуемым как верное исцеление. Фламандское предание, со своей стороны, предписывает в случае лихорадки раннее утреннее посещение древней ивы. Там страдалец должен завязать три узла на одной из ее ветвей и сказать: «Здравствуй, Старик, отдаю тебе свой озноб; здравствуй, Старик», — после чего сговорчивый «Старик» избавляет пациента от докучливой его хвори.

Не совсем-то христианское учение «переложи на другого» заметно во многих некогда популярных заговорах. Чтобы избавиться от бородавок, хорошим планом было завернуть в узелок столько ячменных зерен, сколько бородавок надлежало извести заговором, и оставить узелок на большой дороге. Кто находил и развертывал узелок, тот и наследовал бородавки; в сем случае — сущее «наследство скорби».

Лишенные рассудка худо жили в так называемые добрые старые времена. «Если человек безумен, — гласит жизнерадостное «снадобье», — возьми кожу морской свиньи, сделай из нее кнут, высеки им человека — скоро он будет здоров. Аминь». Аминь придает рецепту особый елей. Да и розга доставалась на пользу не одним безумцам: преподобный С. Бэринг-Гауд пишет о немецком враче 1608 года, который, по-видимому, почитал ее средством чуть ли не от всякого зла, какое есть на роду у человека. По убеждению этого энтузиаста, добрая порка была лучше любого патентованного лекарства, выдуманного со дней Ноя. Она «прочищает мозг, взбадривает застоявшиеся соки, разгоняет кровь и укрепляет нервы»; более того, для меланхолии, происходящей от любви, это было просто-напросто то самое средство. Что сказали бы вздыхающие Стрефоны и томные Адонисы девятнадцатого века, вздумай лечить их любовную хворь в этом скором и несентиментальном роде? «Высеки его хорошенько, — замечает мудрец о юноше, слегшем с любовною немочью, — и, если он не поправится, держи его взаперти в подвале на хлебе и воде, пока он не обещает исправиться».

В «Зеркале мира» (Speculum Mundi) Свона мы также наталкиваемся на весьма причудливые врачебные выдумки. Девичья пижма, узнаем мы, хороша для «тех, кто печален, задумчив, говорить не желает». Цикламен — отличное любовное лекарство и заставит вас влюбиться, а розга, как только что было замечено, заставит вас разлюбить. Лукавая шутовская острота таится в описании горчицы, и автор в этом месте впадает в стихи:

Та, что дурного мужа схоронила,

Сердцем рада, вовсе не грустила,

Но приличья ради на виду

Лук да семя горчицы исторгнут слезу.

Было бы стыдно не поместить розмарин в список странных и чудодейственных трав, ибо, в самом деле, добродетели розмарина были некогда весьма велики, хотя ныне они, кажется, пришли в упадок. Материализму нашего века точно есть за что держать ответ. Он отнял у нас заговоры и приворотные зелья, пустил наутек наших домашних фей и распустил большую часть, если не всех, наших домовых; он сдвинул древние межевые столбы и нанес смертельный удар старым суевериям. Взамен он дал нам то, что один известный писатель соизволил обозначить словом «машинерия», подразумевая под этим куда больше, чем двигатели и колесные вещи, которые «ходят, пока заведены». Впрочем, что такое машинерия и что ею не является, к настоящему очерку отношения не имеет: он ведает лишь о немногих выкорчеванных межевых столбах. Итак — назад, к нашему розмарину. Развешанный у крыльца и дверных столбов, он отгонял воров; но замечательнейшее его свойство состояло в том, что он делал стариков снова молодыми. Дорогой, дорогой розмарин! Если бы ты и теперь был способен на такое, золото Офира шло бы тебе в цену. Жила некогда — и Гален ручается за этот рассказ — подагрическая, кособокая старая королева, вознамерившаяся вернуть себе утраченную молодость и кра-

соту: она взяла шесть фунтов волшебной травы и растерла их в один присест. Порошок, таким образом добытый, был примешан к воде, в которой она купалась трижды в день, — и вышло, что стала она столь молода и жива, что вместо того, чтобы каяться в грехах и помышлять о своей кончине, ее омоложенное величество принялось высматривать себе мужа. Вот и все о Галене и его розмарине.

Другое наше растеньице «с общего огорода», утратившее престиж в эти испорченные времена, — барвинок. Ведь каков был список его добродетелей! Он не только был «во благо» против злых духов, змей, диких зверей, ядов, зависти и ужаса; но те, кто его носил, были удачливы и вечно любезны. Истинно «осуществленье, о котором так благоговейно мечтается»! Удачливы и вечно любезны! Старый Геррик никак не мог этого знать — иначе он непременно написал бы:

Рвите барвинки, пока можно, —

Старое Время все летит…

Хирургия и суеверие

Фрэнк Рид Фоук (Frank Rede Fowke)

Для тех, кто непосвящен в историю хирургии, быть может, будет неожиданностью, что многие из приспособлений, обычно почитаемых вчерашними изобретениями, — лишь доведенные до совершенства формы орудий, давно уже бывших в употреблении. Удивительно находить среди мелких бронзовых изделий Национального музея в Неаполе бистурии (хирургические ножи), щипцы, банки, троакары для прокола с выпусканием воды, двустворчатые и трехстворчатые хирургические зеркала, элеватор для приподнимания вдавленных частей черепа и другие инструменты столь переднего устройства, что они различаются разве что немногим со своими современными сородичами.

Изобретение таких орудий и мастерство, проявленное в их выделке, предполагают долгий период хирургической практики. Соответственно мы находим, что за четыреста лет до нашей эры Гиппократ производил многочисленные операции, смелые до самой грани безрассудства. Так, он имел обыкновение пускать в ход трепан не только при вдавлении черепа или подобных случаях повреждения, но и при головных болях и других страданиях, к которым, судя по нашим понятиям, процедура эта была в высшей степени неприменима. Странное дело: черногорцы имеют, или имели до недавнего времени, обыкновение давать себе трепанировать себя по столь же пустячным поводам, — и вероятно, что в обоих случаях процедура эта была лишь уцелевшим остатком обычая первобытных веков.

Что такие операции тогда производились, неопровержимо показывает д-р Роберт Мунро в превосходной статье о доисторической трепанации. Его статья запечатлевает странное смешение наук — медицины и богословия — в их начальной стадии: ибо, пока он с ясностью показывает, что в неолитический период производилась хирургическая операция (преимущественно над детьми), состоявшая в проделывании отверстия сквозь череп для лечения некоторых внутренних недугов, он с равной очевидностью делает явным, что черепа тех лиц, кто пережил это испытание, почитались обладающими особенными мистическими свойствами. И он показывает, что когда такие лица умирали, от их черепов часто отрезали куски, служившие амулетами, — с предпочтением тем из них, что были вырезаны с самого края зарубцевавшегося отверстия.

Открытие произошло следующим образом. В 1873 году д-р Прюньер показал Французской ассоциации содействия развитию науки овал, вырезанный из человеческой теменной кости, который он обнаружил в дольмене близ Марвежоля, вставленным в череп, которому тот изначально не принадлежал. Его предположение, что это амулет, подтвердилось при открытии подобных же обломков кости, снабженных желобками или пробуравленных для удобства подвешивания. Когда собрание д-ра Прюньера исследовал д-р Поль Брока, тот указал, что та часть края кости, которая была описана как «полированная», обязана своей фактурой рубцовым отложениям, и что там, где этих отложений недоставало, либо смерть наступала прежде, чем болезненное действие успело развернуться в живом теле, либо операция была произведена посмертно.

Эти открытия повели за собой широкое исследование и доставление трепанированных черепов из Перу, из Северной Америки и почти из каждой страны Европы. Они не были ограничены каким-либо особенным племенем или периодом, но простирались от древнейшего неолитического века до исторических времен и включали в себя черепа как долихоцефалического, так и брахицефалического типа. Способ производства операции, по-видимому, состоял в постепенном соскабливании черепа острым кремнем, хотя изредка встречаются свидетельства его употребления в пилящей манере — как оно выходило, когда грубое орудие было сменено орудием из металла. Производилась операция почти исключительно над детьми —

вероятно, по причине легкости, с какою тогда можно было ее исполнить, и, возможно, также в качестве ранней предосторожности против тех страшных зол, от которых она почиталась предохранительным средством. Каковы были эти страшные золы, предположил д-р Брока, который, веря, что операция производилась прежде всего в терапевтических целях, видел за ними страх перед сверхъестественным или демоническим влиянием.

Читатели «Халдейской магии» Ленормана помнят «злого демона, который хватает тело, который тревожит тело», и то, что «болезнь лба исходит из преисподних областей, приходит из жилища владыки бездны». При таком древнем свидетельстве перед нами отнюдь не дикой, стало быть, кажется теория, выдвинутая д-ром Брокой: что многие судороги детского возраста, исчезающие в возмужалой жизни, почитались результатом демонической одержимости. Если это допустить, то что может быть естественнее, как не помочь пленному духу вырваться, просверлив дыру в черепе, составлявшем его темницу? Когда больной переживал операцию, он становился живым свидетелем победы над бесом, и понятно, что кусочек его черепа, взятый после смерти из самого отверстия, послужившего выходом, должен был составлять могущественный талисман.

Халдейские демоны, как известно, бежали от изображений их собственных безобразных обликов; и если они были так чувствительны на счет личной наружности, то другие могли с равною остротою страшиться вещественного свидетельства прежнего поражения. Несомненно, что черепным костям приписывались лекарственные свойства — вера в их действенность держалась до самого рассвета восемнадцатого века; а в недавние годы такие костяные реликвии носились престарелыми итальянцами как обереги против падучей и других нервных болезней.

Стоило однажды провозгласить догмат, что святость и пробуравленный череп сопряжены, как любящие родичи могли бы рассверливать головы усопших — чтобы облегчить исход всякой зловредной силы, все еще ютившейся внутри, и обеспечить им, через почитаемое отверстие, удовлетворительное положение в новом их существовании. По тем же причинам костяной амулет погребали вместе с покойником, а иногда клали даже внутрь его черепа. Д-р Мунро находит трудным сказать, с какой целью должно было быть произведено такое вложение, но, если рассуждать из его данных, практика эта не представляется мне труднообъяснимой. Он показал, что болезнь была делом демона, заключенного в череп; что демон сей был изгнан через трепанационное отверстие; и что края его, таким образом, были освящены для талисманских целей.

Нечистый дух вышел из человека, и наблюдение показывало, что в течение земной жизни человека он не возвращался; но какая была порука, что в сумрачной неведомой области, в которую проходил усопший, нападения лукавого не возобновятся, что он не воротится в дом свой, откуда вышел, и, с другими духами, более злоковарными, нежели он, или без них, не войдет и не поселится в жилище выметенном и убранном? Разумеется, перед такою возможностью долгом благочестивых оплакивающих было предложить всю защиту, какую могла бы подсказать религия, и оборонять цитадель тем мощным амулетом, который запечатлел прежнее посрамление осадчика. Посмертная трепанация, быть может, была таким благочестивым старанием пронести таинственные благодеяния за гроб, какое побуждало первых христиан креститься за мертвых; и если в выводах, сделанных из этих свидетельств, есть правда, они указывают не только на веру в сверхъестественное и в существование будущей жизни, но и на то трогательное стремление человеческой любви проникнуть в царство смерти, которое не прекращалось от смерти «Каина, первого мужского чада, до того, кто испустил дыхание лишь вчера».

Возможность с разумным основанием делать такие выводы из нескольких истлевших костей есть замечательное доказательство успехов антропологической науки.

Врач у Чосера

Э. Э. Моррис (E. E. Morris)

Где найдешь такую трогательную и живую панораму различных сословий минувших дней, как в Прологе Чосера. Больше внимания было уделено фигурам других из паломников, шедших в Кентербери, но врач вполне достоин внимания. Среди паломников есть лишь восемь, о которых поэт рассказывает пространнее. Тридцать четыре строки, описывающие врача, сообщают нам о его платье, его ученых занятиях и кое-что о свойствах его лечения. Во всех этих отношениях, добавлять излишне, доктор четырнадцатого века широко расходится с всяким нынешним медицинским человеком.

Язык Чосера нетрудно понимать. Он называет врача «doctour of phisyk» — доктором медицины. Уже в ту раннюю пору слово doctor, искони значившее «учитель», приобрело свое нынешнее ходовое значение; уже тогда physic было сужено от «науки о природе» до значения «средства от болезни». Макбетовское «швырнуть медицину псам» звучит как сегодняшнее пожелание. В одной форме слова Чосер лучше нашего: «practisour» несомненно складнее нашего «practitioner» с его двойным окончанием.

Поприще ученых занятий врача тем более замечательно, что он жил до изобретения книгопечатания. Масса рукописей, через которые он должен был продираться, убавляется, однако, тем, что некоторые по крайней мере из авторитетов не оставили после себя сочинений, которые могло бы изучать потомство. Нам не сказано, где врач получил образование и принял ли он степень доктора в одном из университетов; но о нем определенно сообщено, что он «хорошо знал» не менее чем пятнадцать авторов. Почти половина их была арабской; пятеро были греки, двое — англичане и один — шотландец. Большая арабская доля — вот что всего более удивляет современного читателя, если только он не читал своего Гиббона и не отдает себе отчета, сколько средневековой учености пришло от племени арабов и учеников Магомета. Потомки людей, сожегших Александрийскую библиотеку, оказались хранителями многого знания для грядущих времен — чему может научить хотя бы первый слог слов алгебра, алхимия и алембик.

Порядок пятнадцати имен в чосеровском списке главным образом исторический: сперва греки, затем арабы, затем более новые мужи. Внутри этих делений порядок решается соображениями ритма или рифмы; список открывает Эскулап, а врачу пришлось бы встретить некоторое затруднение, чтобы знать его сочинения, ибо трудов он не оставил — если он вообще когда-либо существовал. Высказывалось предположение, что имя его могло быть присвоено какому-нибудь медицинскому трактату, до нас не дошедшему; но это значит вступить на обширное и плодородное, однако ненадежное поле догадок.

Гиппократ Великий — имя его в средние века искажалось в Ипокрас, а затем стало служить и названием хитроумно составленного напитка — принадлежит пятому и четвертому векам до Христа. Его трактаты — древнейшие из дошедших до нас сочинений о медицине. Диоскорид, писатель по лекарственным веществам (materia medica), главным образом по травам, — первый после христианской эры. Гален и Руф также принадлежат второму веку, живя в пору расцвета Римской империи, когда образцовый император Траян был властелином мира. Руф был из Эфеса и писал о названиях частей человеческого тела. Гален — в средние века его писали «Галлен» — был, вероятно, самым знаменитым из всех в списке. Его сочинения ныне не изучаются, разве что ради истории медицины, но на их страницах чосеровский врач имел сокровищницу знания. Можно сомневаться, сделала ли медицинская наука большой шаг вперед от второго к четырнадцатому веку, от Галена до Чосера. Теперь ее горделивая похвальба в том, что за последние пятьдесят лет она продвинулась дальше, чем от начала мира до середины девятнадцатого века.

В списке арабских авторитетов Чосер порядка не сохранил. Когда греческая ученость выродилась в педантизм, факел врачебного знания, зажженный на последней из греческих школ, поддерживали в Дамаске и Багдаде. Иоанн Дамаскин представляет первого; Разес, великий авторитет по натуральной оспе, — второго. Оба принадлежат девятому веку. Затем следуют трое мужей одиннадцатого века: Авиценна (родом из Бухары), Гали и Серапион. Аверроэс (родом из Кордовы) — двенадцатого века. Гали — это Альхазен, персидский автор медицинского трактата, известного как «Царская книга» (Royal Book), но более знаменитого своими знаниями и открытиями в астрономии, то есть в астрологии; впрочем, чосеровский врач признает тесную связь звездословия с врачебным ремеслом. В самом деле, несколько из шестерых не были особенно отличены как врачи, но как люди широкого образования. Они были философами — с тем особым значением слова «алхимик», какое придают ему Чосер и его современники, или без него. Авиценна был комментатором Аристотеля, а Аверроэс — Платона и Аристотеля. Из двух Аверроэс имел большее влияние как философ, Авиценна — как писатель по медицине. Средневековые студенты постигали греческую философию по латинским переводам арабских переводов подлинника. Книга Авиценны — «Канон врачебной науки» (Canon of Medicine), учебник медицинского учения в европейских университетах средних веков. Не подлежит сомнению, что врач читал все эти книги по-латыни: в его время греческого не изучали вовсе, а арабского и подавно.

Серапион — греческое имя, и принадлежало оно знаменитому врачу, жившему задолго до Христа, — александрийскому греку, писавшему против Гиппократа. Его сочинения, однако, не сохранились, и вероятнее, что разумеется один из двух арабских врачей того имени, которые, вероятно, присвоили его себе ради древней славы; но они принадлежали одиннадцатому веку.

Константин — это Константин Африканский (Constantius Afer), уроженец Карфагена и, вероятно, арабского происхождения, но христианский монах, покинувший Карфаген и ставший одним из основателей знаменитой медицинской школы в Салерно, в Италии. Салерно, можно сказать, было обязано своим величием тому факту, что сарацины принесли арабскую врачебную ученость через Средиземное море. В «Рассказе купца» Чосер цитирует сочинение Константина на строго медицинскую тему, называя его «проклятым монахом доном Константином».

Последние трое, названные Чосером, жили ближе к его собственному времени. Гилбертин — это Гилберт Англичанин (Gilbertus Anglicus), написавший свой «Компендиум медицины» (Compendium Medicinae) как-то после середины тринадцатого века. Бернард Гордон был шотландцем, ставшим профессором медицины в Монпелье, — за целое столетие и половину до того, как Рабле принес свою жажду знания и любовь к шутке в эту прославленную медицинскую школу. Джон Гаддесден из Мертон-колледжа в Оксфорде принадлежит к поколению как раз перед Чосером и умер в 1361 году. Его обычно описывают как придворного врача в царствование Эдуарда II. Во всяком случае, у него была обширная лондонская практика, и однажды он лечил брата короля от натуральной оспы. Если антивакцинаторы возьмут верх, оспа может снова сделаться повальной, так что лечение Гаддесдена стоит записать. Он завернул царственного пациента «в алую суконную ткань, в постель и комнату с алыми завесами» — и результатом было то, что ни следа болезни не осталось. Цитата эта взята из новейшей биографии Гаддесдена. Д-р Норман Мур в «Национальном биографическом словаре» говорит, что его книга, называемая «Роза медицины» (Rosa Medicinae), а чаще «Английской розой» (Rosa Anglica), «набита цитатами из» — и далее следует список, почти тождественный чосеровскому.

Книга начинается с учения о лихорадках по галеновскому делению; затем проходит по болезням и повреждениям, начиная с головы, и кончается антидотарием — трактатом о лекарствах. В ней содержатся некоторые замечания о стряпне и бессчетные рецепты, из которых многие суеверны, тогда как другие при тщательном рассмотрении оказываются средствами

здравого смысла. Так, пояс из тюленьей кожи с пряжкой из китовой кости, рекомендуемый им против колик, — не более чем современный и полезный фланелевый пояс от холеры. Он пекся о своих доходах и хвастается, что выговорил высокую цену у гильдии цирюльников-хирургов за рецепт, где главный состав — древесные лягушки. Его нрав, его причуды и его начитанность так точно совпадают с нравом, причудами и начитанностью Доктора медицины из чосеровского Пролога, что возможно, будто описан именно Гаддесден; а в тогдашнем Лондоне поменьше вовсе не невероятно, что поэт мог встречаться со знаменитым врачом и запомнить его странности.

Если чосеровский врач переварил всю эту разнообразную ученость, посмотрим, как он ею воспользовался. Основой его лечения была астрология. Он подстерегал небо, чтобы благоприятная звезда или звезды были в восхождении, — тогда он изготовлял изображение своего пациента. Если образок был изготовлен в астрологически благоприятный сезон, считалось, что лечение изображения помогает больному посредством магии. Можно подивиться, в какой мере врачи верили, что исцеления совершаются через это магическое лечение по доверенности, — или не было ли это способом оставить природе самой работать над излечением. Впрочем, сей врач вовсе не полагался в медицине и хирургии на одну астрологию. Чосер говорит, что он знал причину каждого недуга и бил по корню зла. Чего же больше? В его диагнозе причина относилась к тому, что звалось «стихиями», или к «сокам». Каждое из них составляло четверицу: холодное, горячее, влажное и сухое; черная желчь, желтая желчь, кровь и флегма. Чосер называет первые по имени, но вторых не расписывает: они были слишком хорошо известны. Знаменитая теория соков весьма древняя — вероятно, восходит к Гиппократу и несомненно систематизирована Галеном. Латинское humor означает влагу, жидкость. Древние верили, что четыре сии сока или жидкости присутствуют в каждом человеке и что от способа их смешения зависят его темперамент, нрав, особенности и цвет лица. Если смесь была ровной, человек почитался добронравным, или «добросочным» (good-humored, буквально «доброго сока»); но если какой-нибудь из четырех брал верх, нрав определялся тем самым. Если черная желчь — он был желчен, или меланхоличен; если другая желчь — гневлив; если кровь — сангвиником; если флегма — флегматиком. Это не только объяснение целого гнезда нынешних английских слов, но и свет на многие страницы нашей литературы. «Расстроением соков» (distemper) мы теперь зовем собачью хворь. Наши предки прилагали то же слово и к людям.

Когда диагноз сделан, врач мог прописывать и вручать больному его лекарство — его «боте» (boote), то, что делает лучше. Лекарства эти по большей части травяные, и изготовлялись они в двух видах: драже (dragges), или «дрог» (drugs), и летуарии, или электуарии. Первое слово многими связывается с «сухим» (dry) и, кажется, употреблялось о каком-то сухом виде порошка; второе же есть нечто, что надо лизать. Оба подразумевают, что лекарство было приготовлено в приятной форме — вроде порошка в варенье в дни нашего детства. Слово «drug» ныне предполагает лекарство невкусное, но Скит цитирует словарь Котгрева, изданный в год Реставрации, в 1660 году: «Драже — род укрепляющего пищеварение порошка, прописываемого слабым желудкам после еды» (то есть после пищи, не обязательно мясной), «и отсюда всякие жонкеты, конфиты или сласти, подаваемые в последней перемене для закрытия желудка». Современное французское dragee означает конфетку — слово, передающее смысл совсем иной, чем его английский сородич drug. Пятьдесят лет назад лекарства (черная доза! фу!) были противнее, чем теперь; и все же средневековое понятие, что лекарства должны быть сластями, возможно, стоило бы отчасти ввести заново — с пользой.

Тогда, как и теперь, лекарство шло от химика-аптекаря, хотя всегда его называли апотекарем. Первым значением слова «химик» было «алхимик», а нынешнее его употребление немного неловко: научного исследователя зовут тем же именем, что и раздатчика лекарств. В Соединенных Штатах этой путаницы не знают: там последнего всегда зовут «druggist» (фармацевт). Чосер обвиняет врача и аптекаря в том, что они играют друг другу на руку, — прак-

тика, прямо воспрещенная правилами некоторых нынешних врачебных коллегий. «Как это?» — спросит простодушный. Доктор прописывал дорогие средства, на которых аптекарь снимал большой барыш, а тот в ответ направлял к любезному доктору пациентов. Будем надеяться, что обвинение было клеветой.

Чосер дальше рассказывает нам, что этот врач заботился о самом себе, что был разборчив насчет собственной диеты, что ел немного, но что съеденное им было вправду питательной пищей и легко усвояемой. Во время Крымской войны делалась попытка кормить солдат пищей, укладывающейся в малом объеме, но обнаружилось, что человеческому телу требуется быть наполненным, а не только питаемым: непрерывный курс малых количеств весьма питательной пищи оставлял вакуум, какой ненавидит сама природа.

Между прочим, Чосер упоминает, что чтение врача было «на Библию совсем немного». Это приходит как неожиданность к тем, кто думал, будто протестантизм первым ввел Библию среди мирян. В этой насмешке есть поистине современный привкус. Далее описывается наружность доктора. Он был «одет в сангвин и в перс» — в кроваво-красное и в синее. Нынешние времена действительно изъяли много живописного из обыденной жизни — в особенности цвет из одежды мужчин. Паломники, направлявшиеся в сторону Кентербери, носили отличительные наряды. Даже в восемнадцатом веке, судя по картинам Танбридж-Уэллса, костюм отличал человека от человека так, как теперь вовсе перестало быть. Сей доктор ехал со всеми, одетый в ткань кроваво-красную и цвета персикового цветенья. Должно быть, выглядело это богато и красиво. Упомянут даже подбой: он был из тафты и сендаля — то есть из густой тонкой шелковой ткани. Но из опасения, чтобы это нарядное платье не сочли расточительством, поэт наш прибавляет, что врач был умерен в издержках. Не мотовало, он берег то, что честно заработал в поветрия, терзавшие Англию в четырнадцатом веке, — из них «Черная смерть» была самой губительной и самой памятной. В ту пору доктор делал деньги в современном смысле слова, а не так, как алхимики притворялись делать золото. Золото входило в средневековую фармакопею. Д-р Скит ссылается на разные свидетельства, показывающие, что aurum potabile, питьевое золото, было лекарством, как-либо приготовленным из золота: либо золото варилось в масле, и употреблялось затем масло, либо в самом деле переплавлялась небольшая доля самого золота. Средство сие было в великой чести у алхимиков, которые (надо помнить) искали панацею — лекарство от всех немочей, на роду написанных нашей плоти, — или эликсир жизни, равно как и философский камень, который обращал бы неблагородные металлы в золото. Странное дело: верили, что одно и то же вещество исполнит двойное назначение. С тонким выпадом насчет ценности, которую врач придает золоту по чисто профессиональным основаниям, Чосер выпускает его из-под поэтического скальпеля.

Кроме описания в Прологе, Чосер часто дает второе, покороче, описание главных рассказчиков, когда приходит их черед вести свою повесть. Но у врача во всей книге «Кентерберийских рассказов» провал: второго описания недостает как раз тогда, когда врача зовут рассказывать. Недостает «головной связки» (head-link). Рассказ врача — старая история Виргинии, первоначально из Ливия, но взятая Чосером из «Романа о Розе» (Roman de la Rose). В конце Гарри Бейли, трактирщик, как председательствующий гений всего рассказывания, произносит некоторую хвалу рассказчику, заодно потешаясь над грустностью истории. Он был так ею удручен, что (как это современно!) желал бы выпить после нее. Похвала доктору заключена в словах «ты малый что надо, и подобен прелату!» (Гаддесден ведь был священником) — то есть достоин быть возведенным в епископы или митрированные аббаты. Немного странно звучит для современного уха, что трактирщику понадобился «тирьяк». Не как носитель серы понадобился он ему. Тирьяк сменил значение. Первоначально — противоядие против укуса дикого зверя, он стал означать лекарство, а позже — излюбленный носитель для лекарства. Трактирщик, шутя, говорит, что он так жестоко истерзан рассказом, что у него развилась сердечная болезнь. «Пожалуйста, дайте мне лекарство. Пожалуй, сгодится кружка сырого зерни-

стого эля, или по-настоящему смешная история может послужить нужным лекарством». Так трактирщик расстается с врачом; а следующим зовут рассказывать продавца индульгенций.

Медицина и мораль

Исаак Дизраэли (Isaac Disraeli)

Против Драйдена обрушен острый удар личной насмешки, когда Бейз сообщает нам о своих приготовлениях к курсу учения при посредстве курса медицины!

«Когда у меня рождается великий замысел, — говорит он, — я неизменно принимаю лекарство и пускаю кровь; ибо когда вам нужна чистая быстрота мысли и огненные полеты фантазии, вам надлежит позаботиться о задумчивой части; словом, вам должно очистить брюхо!»

Таким в самом деле был распорядок поэта, как уверяет нас Ламотт (La Motte), сам бывший врачом; однако в своем врачебном качестве он не разглядел в предмете той насмешки, которую, вне всякого сомнения, оценили и остроумцы, и большая часть читателей. Остроумцы здесь оказались жестоки к истине не менее, чем к Драйдену: ведь нам остается почитать эту привычку, по их же собственному выражению, «превосходным рецептом для писания».

Среди прочих философов один из знаменитейших спорщиков древности, Карнеад, имел обыкновение принимать обильные дозы белой чемерицы, великого слабительного, как приготовление к опровержению догматов стоиков.

«Больше всего поднимает мне дух (это кажется нелепым, но это правда) доза слабительной соли; вот только ее не выпьешь, как шампанского», — сказал лорд Байрон.

Привычка Драйдена не была ни причудой, ни принадлежностью одного поэта: он был тучного сложения и, без сомнения, не раз находил на опыте благотворные ее последствия, не догадываясь о причине, — а причина есть не что иное, как взаимное влияние духа и тела.

Этот простой факт связан, поистине, с одним из важнейших вопросов в истории человека — с законами, которые управляют невидимым союзом души с телом; словом, с непостижимой тайной нашего бытия! — тайной, но бесспорным общением, которое, вероятно, навсегда ускользнет от нашего восприятия. Сочетание метафизики с физикой было до сих пор плодотворно лишь для самых диких волшебных сказок среди философов: по учению одних, душа, кажется, исчезает с последним дуновением воздуха, а человек гибнет в «прах к праху»; другие с тем же успехом избавляются вовсе от нашего тела, отрицая существование материи. Мы не можем поручиться, что дух и материя — два отдельных существа, ибо одно может быть лишь видоизменением другого; как бы ни воображали себе эту великую тайну, мы найдем у доктора Грегори, в его лекциях «об обязанностях и качествах врача», что она составляет столь же необходимый предмет исследования в науке о морали, как и в науке о медицине.

Рассматриваем ли мы привычное различие духа и тела как союз или как видоизмененное существование — ни один философ не отрицает, что между нашим нравственным и физическим состоянием совершается взаимное действие. У этих сродств, как у многих иных тайн природы, причина остается сокрытой, тогда как действия очевидны. Эта тесная, но непостижимая связь, это скрытое соответствие частей, казалось бы, между собою не сообщающихся, словом, это взаимное влияние духа и тела давно приковало к себе внимание изыскателей медицинских и метафизических: одним из них вверено попечение о нашей внешней организации, другим — о внутренней.

Можем ли мы представить себе таинственного обитателя как часть его собственного жилища? Жилец и дом так нераздельны, что, ударяя по какой бы то ни было части строения, вы неизбежно задеваете и жильца. Если дух расстроен, мы часто можем искать его седалище в каком-нибудь телесном расстройстве. Нередко мысли наши тревожит странная раздражительность, которой мы даже и не пытаемся дать счет. Это состояние тела, называемое нервной дрожью, — недуг, к которому дамы особенно склонны. Врач, знакомый мне, был настоятельно упрашен одной пациенткой дать имя ее неведомым недомоганиям; это не составило для него никакого труда, ибо он закоренелый поборник материальности нашей природы: он объявил,

что ее расстройство — атмосферическое. Это было расстройство ее организма в сырую погоду, отзывавшееся на ее духе; и телесными средствами, действуя на тело, можно было вернуть ей вполовину утраченные чувства.

Воображение наше бывает выше, когда желудок не перегружен; весною, а не зимою; в уединении, а не среди общества; при тусклом свете, а не в блеске и жаре полудня. Во всех этих случаях тело, очевидно, подвергается воздействию и в свою очередь действует на дух. Иногда сны наши представляют нам образы нашего собственного беспокойства, покуда мы не вспомним, что седалище нашего мозга, быть может, лежит в желудке, а не в шишковидной железе Декарта, и что самую искусную логику, дабы сделать нас сколько-нибудь разумными, можно проглотить вместе с «голубой пилюлей». Наше домашнее счастие часто зависит от состояния желчных и пищеварительных органов, и малые неурядицы супружеской жизни врач может излечивать успешнее, нежели моралист: проповедь, примененная невпопад, никогда не подействует так прямо, как острое лекарство. Ученый Гаубиус (Gaubius), знаменитый профессор медицины в Лейдене, называвший себя «профессором страстей», приводит случай с дамой слишком воспламенительного сложения, которую муж, тайно от нее самой, кровопусканиями постепенно довел до образца благопристойности. Правда, лицо ее утратило розы, которыми, быть может, иные восхищались слишком вольно, — но то пошло на пользу покою ее врача-супруга.

Искусство врачевать нравственные расстройства телесными средствами еще не введено во всеобщую практику, хотя, вероятно, иные тихие мудрецы медицины пользовались им в некоторых случаях. Вышеупомянутый лейденский профессор произнес в университете речь «об управлении и лечении расстройств души воздействием на тело». Декарт догадывался, что, поскольку дух, кажется, столь зависит от расположения телесных органов, если когда-нибудь найдутся средства сделать людей мудрее и изобретательнее, нежели они были доселе, то такой способ надлежит искать с помощью медицины. Науки морали и медицины, следовательно, окажутся соединены между собою теснее, чем то подозревали.

Платон полагал, что человек должен иметь природные склонности к добродетели, чтобы стать добродетельным; что добродетели нельзя выучить; что дурного человека не сделаешь хорошим человеком; этому он приписывает причиною как дурные расположения тела, так и дурное воспитание.

Есть, бесспорно, прирожденные нравственные расстройства: некоторые люди, добронравные, но пылкие, сознавались, что не могут избежать тех временных припадков, которым подвержены и которые, по их словам, терпят «от самого детства». Если они происходят от излишнего изобилия крови, не жестоко ли упрекать их вместо того, чтобы лечить, — тем более что вылечить легко, отняв у них избыточные соки и усмирив таким образом самого страстного из живущих людей? Нравственному больному, позволяющему расстраивать себе мозг парами хмельного питья, вместо того чтобы терпеть его как посмешище, можно было бы прописать опиаты: усыпив его как можно скорее, вы устраняете причину его внезапного безумия. Есть преступления, за которых людей вешают, но которые легко было бы исцелить телесными средствами. Люди, обезумевшие от любви, бросившись в реку и будучи вытащены из нее почти бездыханными, приходили в рассудок и утрачивали свою ослепляющую страсть. Погружение в воду открыто как лекарство от некоторых душевных расстройств — через изменение состояния тела, и, как замечает Ван Гельмонт, оно «благополучно практиковалось в Англии». Об обстоятельстве, на которое намекает этот мудрец химии, я не осведомлен; но эта диковинная практика была, безусловно, известна итальянцам: в одной из новелл Поджо мы находим миланского врача безумных, знаменитого тем, что в определенный срок он излечивал бесноватых и одержимых. Практика его состояла в том, что он помещал их на обширном дворе, обнесенном высокой стеной, посреди которого находился глубокий колодец, полный воды, студеной, как лед. Когда одержимого приводили к этому врачу, он велел привязать больного к столбу

в колодце — до колен, или выше, и даже до шеи, смотря по тому, как, по его разумению, требовала их болезнь. В телесной боли они, по-видимому, забывали свою тоску; итак, ужасом повторного погружения в студеную воду человека, видимо, напугивали до возвращения рассудка!

Один врач сообщил мне достопримечательный случай: дама с расстроенным умом решилась на смерть и проглотила более полпинты лауданума (настойки опия). Вечером она задернула занавеси, простилась со своими прислужницами и льстила себя надеждой, что никогда не пробудится ото сна. Однако наутро, невзирая на эту невероятную дозу, она пробудилась в предсмертных муках. Обычными средствами удалось избавить ее от яда, принятого в столь огромном количестве, и она воротила себе не только жизнь, но — что еще более удивительно — совершенный свой рассудок. Врач догадывается, что именно влияние ее расстроенного духа на тело помешало этому огромному количеству лауданума произвести его обычное действие, которым была бы смерть.

Нравственные пороки или немощи, происходящие от состояния тела, могут быть излечены местными приложениями. Наставления и этика в таких случаях, если и кажутся производящими мгновенное исцеление, лишь пересаживают сорные травы, чьи корни лежат в почве; истребить же это зло можно, только изменив самую почву.

Чувства суть пять крылец, через которые врач входит в душу, чтобы содержать ее в исправности. Изменяя состояние тела, мы изменяем и состояние духа — всякий раз, когда недостатки духа зависят от недостатков организации. Дух, или душа, как бы ни было отлично его бытие от бытия тела, возмущается и возбуждается, независимо от собственного своего воления, механическими толчками тела. Человек цепенеет, когда обращение крови затруднено во внутренностях; он действует более по инстинкту, нежели по размышлению; нервные волокна его слишком расслаблены или слишком натянуты, и он с трудом приводит их в движение; если вы усилите его ощущения, вы пробудите новые идеи в этом тупом существе; и если мы исцеляем тупого, усиливая его чувствительность, то можем верить, что и более живую фантазию можно обещать тем, кто ею владеет, когда дух и тело играют в одном стройном согласии. Пропишите ванну, растирания и примочки — и, хотя путь кажется окольным, вы доберетесь до мозга чрез ноги. Один литератор, от долговременной сидячей жизни, не мог одолеть своих припадков хандры, пока врач не удвоил ему ежедневную порцию вина; а ученый Генри Стивенс (Henry Stephens) после тяжелой лихорадки почувствовал такое отвращение к книгам, любимейшим предметам всей его жизни, что самая мысль о них долгое время приводила его в ужас. Очевидно, что состояние тела часто указывает состояние духа. Само безумие нередко происходит от какого-нибудь расстройства человеческой машины. «Что такое этот УМ, которым люди так тщеславятся?» — восклицает Флешье (Flechier). «Если рассматривать его по природе, это огонь, который болезнь и несчастный случай чувствительнее всего задувают; это тонкое темпераментное сложение, скоро приходящее в расстройство; счастливое устройство органов, которое изнашивается; сочетание и известное движение духов, которые истощаются; это самая живая и самая тонкая часть души, которая, кажется, стареет вместе с телом».

Немудрено, что иные приписывали такие добродетели своей системе питания, раз она оказывалась способной производить известные действия на человеческое тело. Корнаро (Cornaro), пожалуй, воображал больше, чем испытал на себе; но Аполлоний Тианский, когда молва приписала ему общение с дьяволом по его мнимому дару пророчества, защитился от обвинения, отнеся свои ясные и прозорливые воззрения на вещи к легкой пище, которой он питался, никогда не позволяя себе разнообразия блюд. «Такой образ жизни произвел в моих мыслях такую ясность, что я вижу, как в зеркале, вещи минувшие и грядущие». Посему мы можем согласиться с Бейзом, что «для сонета к Аманде и тому подобного довольно и тушеных чернослив»; но для «великого замысла» недостаточно ничего, кроме более формальной и грозной дозы.

Камю (Camus), французский врач, соединявший литературу с наукою, автор «Абдекера, или искусства косметики», чей секрет он открыл в упражнении и умеренности, выпустил еще один причудливый труд, написанный в 1753 году, — «Медицину духа» (La Medecine de l'esprit). Его предположительных случаев едва ли меньше, нежели фактов более достоверных: воображения ему не занимать. Он уверяет нас, что, поразмыслив о физических причинах, которые, различно изменяя тело, изменяли и расположения духа, он убедился: применяя эти различные причины или подражая их силе искусством, мы можем чисто механическими средствами воздействовать на человеческий дух и исправлять немощи рассудка и воли. Этот принцип он почитал лишь зарею более светлого дня. Великая трудность, которую надлежало одолеть, состояла в том, чтобы найти способ вырвать с корнем недостатки, или болезни души, тем же самым образом, каким врачи исцеляют истечение из легких, дизентерию, водянку и все прочие немощи, которые, кажется, нападают только на тело. Это, говорит он, и значит расширять владения медицины: показывать, как функции рассудка и пружины воли механичны. Движения и страсти души, прежде ограниченные отвлеченными умствованиями, в этой системе сведены к простым идеям. Утверждая, что материальные причины заставляют душу и тело действовать сообща, он полагает, что недостатки умственных операций зависят от недостатков организации, которые могут быть изменены или уничтожены физическими причинами; и он справедливо прибавляет, что мы должны считать душу материальной, пока она пребывает в материи, ибо она подвергается действию материи. Такова теория «Медицины духа», которую врачи никогда не будут цитировать, но которая, быть может, содержит некоторые факты, достойные их внимания.

Двум малым книжкам Камю, по-видимому, предшествовало медицинское рассуждение, произнесенное в академии города Дижона в 1748 году, где моралист сравнивает немощи и пороки духа с параллельными им болезнями тела. Можно безбоязненно считать некоторые немощи и страсти духа болезнями; и если бы их лечили так, как мы лечим телесные, к которым они имеют сродство, это было бы великим торжеством «морали и медицины». Страсть сребролюбия походит на жажду водянных больных; зависть есть медленная изнурительная лихорадка; любовь часто бывает неистовством, а капризная и внезапная беспокойность — эпилептическими припадками. Есть нравственные болезни, которые временами распространяются, как повальные недуги, через города, страны и даже целые народы. Есть наследственные пороки и немощи, передаваемые от родительского духа, как несомненно есть такие болезни тела: сын отца горячего и раздражительного темперамента наследует ту же живость и жар; дочь часто бывает копиею своей матери. Мораль, если бы ее можно было лечить врачебно, потребовала бы своих рецептов, ибо всякая болезнь имеет свое специфическое средство; великая тайна, быть может, открыта Камю — тайна действовать на дух посредством тела.

Недавний писатель, кажется, был поражен этими любопытными сродствами. Г-н Хаслам (Haslam) в своем труде «Здоровый ум» (Sound Mind) говорит: «Между болезненным состоянием орудий произвольного движения (то есть тела) и некоторыми поражениями умственных сил (то есть духа) усматривается немалое сходство. Так, паралич имеет свое соответствие в недостатках припоминания, когда величайшее усилие вспомнить оказывается тщетным. Дрожь можно сравнить с неспособностью сосредоточить внимание; и это непроизвольное состояние мышц, обыкновенно подвластных воле, находит себе параллель там, где дух теряет влияние над нитью мысли и делается подверженным самопроизвольным вторжениям, как то можно видеть в грезах, сновидениях и некоторых видах безумия» (стр. 90).

Итак, один философ открывает сродства духа с телом, а другой — сродства тела с духом. Можем ли мы теперь колебаться верить, что такие сродства существуют, — и, ступив шагом дальше, усмотреть в этом взаимном влиянии, что часть души есть тело, как тело делается частью души? Важнейшая истина остается нераскрытой и навсегда останется таковою в этой аптеке духа; но нет истины яснее той, которая привела нас к рассмотрению этого предмета: в

этом взаимном общении тела и духа высшее часто управляется низшим; а иные думают, что дух своевольнее бесчинствует, нежели тело.

Плутарх в своих рассуждениях приводит знакомое сравнение, заимствованное им у какого-то философа, древнее его самого: «Если бы тело предъявило духу иск перед судилищем за убытки, оказалось бы, что дух был жильцом разорительным для своего домовладыки». Мудрец из Херонеи не предвидел намека Декарта и открытия Камю — что медициной можно облегчить или устранить болезни духа; практики, которую, по правде сказать, врачи еще не пустили в ход, хотя моралистов часто поражали тесные сродства духа с телом.

Труд ученого дома Пернетти (Dom Pernety) «Познание человека нравственного через познание человека физического» (La Connoissance de l'homme moral par celle de l'homme physique), как говорят, счастливее заглавием, нежели исполнением; вероятно, это одна из многих попыток развить эту несовершенную и затемненную истину, которая со временем может стать очевиднее и получить всеобщее понимание.

Медицина в тёмные века

д-р Портер Дэвис (Porter Davies)

От падения Римской империи до возрождения письменности в шестнадцатом столетии лечение болезней во всем христианском мире находилось по преимуществу в руках монахов, а практика их была мешаниной из лекарств и суеверных обрядов. Влияние их на успехи врачевания, если рассматривать последнее как искусство чисто мирское, должно быть признано в целом неблагоприятным. Вера в чудеса «Святой Церкви» парализовала поиски рациональных лекарств от болезней и мешала их действенному употреблению даже тогда, когда они были найдены. Заговоры и амулеты ценились выше лекарств. Однако монахи не вполне подчинялись суеверным понятиям своего времени. При монастыре часто можно было найти хорошо устроенную больницу и сад, засаженный растениями, слывшими целебными. Несомненно, монахи спасли много жизней в темное и смутное время Средних веков, когда монастырь с его больницей часто оставался единственным прибежищем для больных и раненых.

В эти темные века свет блеснул с неожиданной стороны. Арабы, завоевания и владычество которых над Западной Азией, Северной Африкой и Испанией принадлежат истории периода между седьмым и тринадцатым столетием, поселившись в прекрасных краях, отвоеванных ими у христиан мечом, обратились к возделыванию искусств и наук. Они основывали школы и собирали библиотеки, и сочинения Аристотеля, Платона, Евклида, Гиппократа и Галена были переведены на арабский язык Хонаиром (Honair), врачом из Багдада (столицы Арабской, или Магометанской, империи), в 870 году от Рождества Христова. Сберегя от гибели писания великих учителей Греции, арабы к тому же сделали некоторые усовершенствования в искусстве медицины. Так, они заменили ужасную чемерицу (слабительное Гиппократа) мягкими слабительными, каковы сенна и ревень, пополнили materia medica такими добавлениями, как мускус, и первыми стали применять перегонку, равно как и химический анализ.

Одним из замечательнейших среди арабских врачей был Разес, написавший двенадцать книг по химии и сочинение о натуральной оспе — болезни, которую он первым описал. Патологию и терапию он заимствовал у Галена, учеником которого, и притом преданным, он, кажется, и был. Еще большей славой, нежели Разес, пользовался Авиценна, прозванный Шейх-Рейсом, или Князем врачей. Он родился в Бухаре и с юных лет славился обширностью познаний во всех отраслях тогда преподававшегося знания. Он перевел сочинения Аристотеля на арабский язык, с которого в двенадцатом столетии перевел их на латинский Михаил Скотт (Michael Scott), известный в шотландском предании как «волшебник» и чья гробница доселе видна в Мелроузском аббатстве. Окольным до чрезвычайности путем шло знание, чтобы достигнуть отдаленных островов Западной Европы. Проведя жизнь, полную превратностей, бывая то визирем, то узником или изгнанником, он скончался в 1036 году, на пятьдесят восьмом году жизни. Система его терапии ничем не отличалась от системы Галена (умершего около 200 года от Рождества Христова), но литературный талант, явленный в его сочинениях, сделал их на сотни лет непререкаемым авторитетом в медицине.

Современником Авиценны был арабский историк Гали Аббас (Haly Abbas), прозванный Магусом за великую свою ученость; великое его сочинение, латинский перевод которого еще существует, называлось «Альмалекус», или Царское сочинение. Подобная или еще большая слава в медицине выпала на долю Авенцоара (Avenzoar) Севильского и Аверроэса Кордовского, двух из ученейших мужей и величайших украшений испанской медицины при сарацинах. Позднее их процветал Абулкасис (Abulcasis), также выдающийся медицинский писатель и практик.

Заслуга, подлежащая арабам, состоит в том, что они сделали некоторые немаловажные добавления к materia medica, описали некоторые новые болезни — например, натуральную

оспу и корь — и не дали знанию и мудрости греков погибнуть посреди великого исторического катаклизма, которым сопровождались распад Римской империи и захлестывание Европы волной северного варварства. Варвары — готов ли, вандалов ли, гуннов ли, вестготов ли, франков или лонгобардов — хотя из страха перед болезнями и ценили пленного врача, нередко щедро вознаграждая его услуги, не имели ни времени, ни вкуса, ни случая возделывать науку и искусство медицины; да и в смутах, которые они всюду творили, сословию ученых мужей трудно было сохраниться. Странно, что врачебное искусство нашло покровительство в вере, опирающейся на силу меча, — того покровительства, которого оно не могло тогда найти в вере, основанной на словах Того, кто по справедливости именуется Великим Врачом.

Исключением из этого порядка вещей в христианском мире были итальянские республики — то есть от двенадцатого до пятнадцатого столетия, — чьи великолепные города были пристанищем всего того из учения и искусства, что доселе уцелело от варварского потопа. Милан, например, в дни величайшей своей славы, говорят, насчитывал двести врачей, многие из которых были люди добрых родов, высокого ума и образования. Итальянский врач доктор Джованни да Прочида (Giovanni da Procida) прославил свое имя в связи с политическим движением, навсегда памятным по «Сицилийской вечерне». Но даже в Италии влияние, которым пользовался такой полубезумный, хотя и несомненно умный, шарлатан, как Иероним Кардано (Jerome Cardan), показывает, что общество вообще не отличалось просвещенностью в медицинских предметах. Одна лишь медицинская школа, Салернская, близ Неаполя, достигла великой и заслуженной славы. Она называлась «Городом Гиппократа», и при ее основании состояло десять докторов, или профессоров. Долго она оставалась единственной христианской школой медицины в Европе, достойной этого имени; ибо хотя здесь и там, в университете или обители, мог быть погребен какой-нибудь чудо учености, и такое диво гения, как Роджер Бэкон, могло возбуждать изумление и трепет, навлекая на себя анафемы церкви, — общее состояние медицинской науки было плачевно, что доказывали опустошения, причиняемые «потливой болезнью» и другими повальными болезнями и эпидемиями, которые прокатывались по беззащитным населениям и десятили их.

Но мало-помалу на Западе занялась лучшая эпоха, обещавшая великим массам народа новое здоровье — души и тела равно. Именно к концу обсуждаемого ныне периода появился на сцене медицинской истории странный характер — Парацельс, родившийся в Айнзидельне, близ Цюриха, в Швейцарии, в 1490 году. Отец его был смотрителем монастырской больницы в Айнзидельне, и от него Парацельс получил начатки своего образования. Какое дальнейшее учение он получил — неизвестно, но в конце концов он пустился в странствия, посетил Италию, Германию и Швецию и даже простер свои скитания до Азии и Египта. Полагают, что он содержал себя, производя «чудесные исцеления», и, кажется, нет сомнения, что он сделал некоторые приобретения, если не открытия, в химии. В тридцать три года он хвалился, что излечил тринадцать принцев, случаи которых были объявлены безнадежными. В 1526 году он сделался профессором медицины и хирургии в Базельском университете. Начав свою карьеру публичным сожжением сочинений Галена и Разеса, он читал своим слушателям, по-немецки, лекции о недостаточности чтения и о необходимости странствий и практики, чтобы сделать врача. Его манера и мнения не снискали уважения учеников, и аудитория скоро опустела. Это, вместе с низкою ссорой, в которую он впутался, принудило его удалиться из Базеля. Из поведения его в это время явно следовало, что у Парацельса была душа шарлатана, хотя он и занимал профессорскую кафедру. Он снова отправился в странствия и, куда ни являлся, делал врачей своими врагами, понося их и их систему и производя свои «чудесные исцеления». В Зальцбурге это привело к роковым последствиям: Парацельса, после одной из его тирад, атаковали слуги врачей, выбросили его из окна трактира, и от падения у него была сломана шея. Это случилось в 1541 году.

Впечатление, произведенное Парацельсом, несмотря на его ошибки и странности, на людей его времени, обязано его дерзости в обличении недостатков медицинских систем, бывших тогда в ходу, и в настаивании на достоинствах собственных его методов. Галеново учение он поносил с беспощадным презрением, да и памяти Гиппократа не чтил. Народные суеверия, связанные с медициною, он сметал размахом здравого смысла. Но успешнее он разрушал старые доктрины, нежели строил новые. Его собственная система, насколько ее ныне можно распознать, была на редкость мистична и туманна. Одна черта ее различается отчетливо, именно: болезнь он разумел не как простое изменение соков тела, но как существо — вторгающееся чудовище, которое должно быть изгнано высшей противоборствующей силой. Всякая болезнь, утверждал он, имеет собственный свой арканум, или противоядие. С этим учением он смешивал известные мистические понятия о «духе» лекарства, которые, впрочем, несколько сродни гомеопатическому учению о потенцировании.

Чтобы напасть на противоядие для каждой болезни, Парацельс требовал, чтобы врач обладал знанием философии, астрономии и алхимии; но о значениях, какие он придавал этим словам, пределы этого очерка запрещают давать подробные объяснения. Довольно сказать, что под философией он разумел силы природы; под астрономией — отношения небесных тел к человеческому сложению; а под алхимией — собственно фармацевтическую химию, которая доставляла, как он думал, великое множество противоядий от болезней. Главные его лекарства были, однако, ртуть, опий и антимоний, играющие важную роль в медицинской практике и доныне. Составляло ли его elixir vitae (эликсир жизни) одно какое-нибудь лекарство или смесь нескольких — настолько же не достоверно, насколько достоверно то, что этот эликсир не продлил жизнь тем, кто в него верил.

Врачи, оставившие практику

Джон Корди Джеффресон (John Cordy Jeaffreson)

Глава I. Учение и литература

Медицина, младшая из трех ученых профессий, по крайней мере в Англии, сравнительно молода настолько, что студент может обозреть весь ее путь от того периода, когда она впервые стала в этой стране регулярно организованным и узаконенным занятием. Разумеется, и до того периода водились среди нас целители — мужи, в чьей учености попеременно сказывалось влияние то северного лекарского предания, то южной науки и которые в своей практике требовали и получали то соображение, какое воздал им сын Сираха, начертавший знакомые каждому слова: „Почитай врача честью, подобающей ему, ради потреб, какие ты имеешь от него, ибо и его создал Господь; от Всевышнего же исходит врачевание, и от царя он получит почет“, — слова, которые, по признанию Джона Уайтфута, норфолкского настоятеля, в его „Записках о жизни сэра Томаса Брауна“, он взял бы текстом своей проповеди, доведись ему быть назначенным для произнесения надгробной речи над знаменитым нориджским врачом, который подарил благодарному миру „Религию врача“ (Religio Medici) и получил рыцарское достоинство из рук Карла II.

Задолго до возрождения словесности, а еще дольше до науки, ставшей плодом того возрождения, редко случалось, чтобы сколько-нибудь значительный английский город обходился без врача, державшего голову выше своих профессиональных соперников на том основании, что он учился в Оксфорде или Кембридже либо получил ученую степень в Париже или Болонье. В мантии „сангвин и перс“ (алого с лазоревым цвета), на подкладке из тафты и сендаля, доктор, любивший золото, добытое им на черной немочи, — доктор, знавший об астрологии и магии куда больше, чем о Библии, — и по сей день браво вырисовывается среди толпы веселых пилигримов у Чосера.

Средневековая Англия производила, впрочем, и врачей иного склада — таких, которые, странствуя по чужеземным школам по обычаю своего времени, достигали богатства и славы в тех землях, куда отправлялись ради знания. Джон Фриас (John Phreas), член общины Баллиол-колледжа, из чьих писем иные сохраняются поныне в Бодлеанской библиотеке, отправился за знанием в Падую и замедлил в Италии до тех пор, пока не снискал расположение могущественных церковников. За посвящение Павлу II своего перевода Диодора Сицилийского он был вознагражден даром, стоившим ему жизни, — епископством, которое он едва успел принять из рук понтифика, как был отравлен соискателем этой милости, оставшимся не у дел. Именно так биографы объясняют исчезновение доктора из мира в самый момент его возвышения. Но в дни, когда никто не мог стать знаменитым, не живя в вечном страхе перед отравителем, а колпаки для блюд изобретались не для того, чтобы беречь жар дымящихся кушаний, но чтобы охранять лакомые яства от ядов, которые иначе могли быть подсыпаны на них по пути из кухни к столу, — в те дни люди были столь скоры вменять каждую таинственную смерть самому гнусному виду убийства, что читатель вправе усомниться, действительно ли Джон Фриас пал жертвой какой-либо подобной вспышки сатанинской ярости.

Но хотя врачи были среди нас и до Линакра, как до Агамемнона было много героев, врачебная профессия, поскольку речь идет об Англии, возникла, можно сказать, вскоре после того, как знаменитый доктор склонил Джона Чембера, Фернандуса де Викторию, Николаса Халсуэлла, Джона Фраунса и Роберта Якcли присоединиться к нему в прошении к Генриху VIII о королевской грамоте, учреждающей коллегию с правом издавать законы для регулирования занятий всех докторов, практикующих в Лондоне и в семи милях от него, и всех занимающихся врачеванием по всему королевству, за исключением тех, кто имел ученые степени Оксфорда и Кембриджа. Как юридическое сословие ведет свое летосчисление с поселения юристов в Судебных иннах, так и врачебное сословие ведет отсчет своего существования с учреждения Коллегии врачей. План, приведший к этому достопамятному итогу, был составлен

в доме Линакра на Найтрайдер-стрит, в Докторс-Коммонс, и было сообразно с попечением кардинала Уолси об учености и с его вкусом к основанию коллегий, что кардинал благоволил этому замыслу и покровительствовал ему настолько, чтобы присоединиться к прошению о королевской грамоте. Странно было бы, если бы государь поколебался исполнить просьбу, столь настойчиво рекомендованную его королевскому вниманию. Наделенная щедростью своего основателя достаточным числом покоев в его собственном доме, который вскоре украсил на своей стене герб врачей, сочиненный и пожалованный Гартером, королем герольдов, новая коллегия имела Линакра первым своим президентом. Более пригодного человека на эту должность нельзя было бы и сыскать, чем сей учтивый доктор, владевший доверием короля, и сей изящный писатель, пользовавшийся дружбой Эразма.

Были, сверх того, у Линакра и другие основания к тому почитанию, каким окружали его современники. Д-р Джон Кей (Каюс), чья забота об учености переживает поныне в колледже, созданном его богатствами в Кембридже, избег обычной и простительной слабости сочинителей эпитафий: без единого слова чрезмерной похвалы начертал он на гробнице первого президента: „Питая отвращение к обману и козням, верный друзьям, всеми любимый муж, рукоположенный в священники за несколько лет до кончины, он отошел из этой жизни, полный лет и всеобщей скорби“. Побуждение Линакра принять духовный сан под конец его поприща остается неизвестным, но характер его исключает подозрение, будто он домогался того отличия, какого достиг Джон Фриас. В этом отношении поведение его тем более примечательно, что, как рассказывают, он, хотя и был преисполнен христианских добродетелей, прочел Новый Завет впервые лишь за короткое время до своей смерти и, пораженный разладом между учением и практикой людей, именующих себя христианами, воскликнул с чувством, отложив в сторону священную книгу: „Или это не Евангелие, или мы не христиане“.

О состоянии медицины в Англии времен Генриха VIII можно судить по строкам королевской грамоты, учреждавшей коллегию Линакра, где сказано, что доселе множество невежд, большая часть которых не имела понятия ни о врачебной науке, ни о каком-либо ином роде учения, служила обычными советчиками больных в минуты острой и насущной опасности, „до того, что простые ремесленники, как-то кузнецы, ткачи и бабы, дерзко и заведомо привычно брались на себя великое врачевание, к великому оскорблению Бога и на погибель многих из верноподданных его величества“. Невежество, впрочем, не ограничивалось одними лекарями, не умевшими прочесть и стиха, дабы вымолить себе спасение от петли. По правде говоря, Тюдоры давно уже сошли со сцены царствующих домов, прежде чем у больного появились лучшие основания доверять иным напыщенным придворным врачам, чем деревенскому торговцу лечебными травами.

Уильям Буллейн (William Bulleyn), автор прелюбопытных книг, — врач высокой репутации, подвизавшийся в правления нашего Эдуарда VI и его сестер, — поил и снабжал своих пациентов „электуариями“ (лекарственными пастами) и „драгоценными водами“, составленными способами, столь же дивными, сколь многочисленны были их составные части. О приготовлении своего знаменитого „Электуария из самоцветов“ (Electuarium de Gemmis) он говорит с той серьезностью, какая прилична философу: „Возьми две драхмы белого жемчугу; два кусочка сапфира; яхонту, сердолику, изумруду, гранату — по унции; сетвалу, сладкому корню доронику, кожуре цитрона, мускатному цвету, семени базилика — по две драхмы; красного кораллу, янтарю, стружки слоновой кости — по две драхмы; корней бена белого и красного, имбирю, длинному перцу, спикарду, индийскому листу, шафрану, кардамону — по драхме; трохисков, диародона, алоэйного дерева — по малой полугорсти; корицы, калгана, зурубета, что есть род сетвала, — по драхме с половиной; тонких пластинок золота и серебра — по полскрупула; мускусу — полдрахмы. Приготовь электуарий свой на меду эмблическом, что есть четвертый род мироболанов, с розами, в равных долях процеженными, — сколько потребно. Исцеляет сие паста холодные болезни мозга, сердца и желудка. Лекарство испытанное — про-

тив трепетания сердца, обморока и беспамятства, слабости желудка, уныния и одиночества. Цари и знатные мужи пользовались им для своего утешения. Оно делает их духом смелыми, телу дает благоухание и рождает на лице добрый цвет“.

Когда столь замысловатое варево подавалось королям и принцам, дабы даровать им легкость сердца, личное благоухание и ясный цвет лица, дешевое и куда более тошнотворное варево из полусотни разнородных и несообразных составляющих вливали силой в глотки простонародью, чтобы поставить его на ноги при лихорадке или тифе.

Вслед за Буллейном, с разрывом в два поколения, Теодор Тюркет де Майерн (Theodore Turquet de Mayerne) показывает своими рецептами, с какой малой наукой человек представительной наружности, светского такта и приятных манер мог взойти на высшие почести врачебной профессии в семнадцатом столетии. Скончавшись в Челси в 1655 году и будучи погребен в церкви Сент-Мартин-ин-зе-Филдс — той самой, где в нынешнем столетии обрел свою первую могилу Джон Хантер, — сэр Теодор де Майерн, английский барон Олбон во Франции, за долгую карьеру, завершившуюся на восемьдесят втором году его жизни, прописывал чуть ли не стольким же государям и другим высочайшим особам, скольких двумя столетиями позже лечил сэр Генри Голланд. Придворный врач во Франции, он был придворным врачом и в Лондоне. Генрих IV и Людовик XIII французские, Яков I и Карл I английские — все до единого высовывали языки по просьбе этого сверхсчастливого практика, который еще до Реставрации выхаживал нашего Карла II в более чем одной серьезной болезни. И, однако, рецепты его вызывают изумление и смех в наш сравнительно просвещенный век. Пьяница по принципу, Майерн советовал пациентам укреплять свое сложение ежемесячным излишеством в вине и яствах, а когда такой режим награждал их острым приступом подагры, он приходил на помощь своим знаменитым подагрическим порошком, содержавшим, среди прочих не менее целебных вещей, „стружку человеческого черепа, преданного земле“. Для пользы страждущих ипохондрией доктор изобрел свой „бальзам из летучих мышей“ — изящное снадобье, приготовленное из гадюк, летучих мышей, молочных щенков, дождевых червей, свиного сала, оленьего мозга и вещества, добытого из воловьих костей. Когда же подагрический порошок и бальзам из летучих мышей не производили желаемого действия, он прибегал к помощи амулетов и заговоров.

Нечего удивляться, что лорд Бэкон, живший в пору наивысшей славы сэра Теодора де Майерна, писал о медицине пренебрежительно, называя ее „наукой, которую более исповедовали, чем разрабатывали, и которая более разрабатывалась, чем подвигалась вперед, ибо труд ее более кружил по кругу, нежели шел поступательно“. Возможно, успехи и методы Майерна не были чужды памяти великого философа в ту пору, когда он в книге „О преуспеянии наук“, после слов о медицине как об искусстве, которое, „будучи гадательным, тем более оставляло место обману“, прибавил: „Нет, мы видим, что слабость и легковерие людей таковы, что они часто предпочтут балаганщика или ведьму ученому врачу“.

В семнадцатом столетии и в более раннее время балаганные шарлатаны от медицины не исчерпывались одними самозванцами, которые, торгуя патентованными снадобьями на рынках и ярмарках с возвышенного помоста, собирали вокруг себя толпу шутовскими речами и ужимками, за что и прозывались „веселыми Эндрю“. Более же удачливые шарлатаны разъезжали в каретах столь же блестящих, носили парики столь же внушительные и жили в домах столь же прекрасных, как лучшие и почтеннейшие из докторов регулярной медицины. Они бывали в домах вельмож ничуть не реже докторов регулярной школы и были на короткой ноге с государственными мужами первейшего ранга. И тогда как эти плуты могли таким образом соперничать с честными врачами, которые много сделали для блага своих пациентов и немало — для приумножения медицинских знаний, случалось не так уж редко, что доктор с дипломом коллегии, знавший не меньше любого из ученой корпорации, снискивал себе любовь черни тем, что подражал этим балаганам, которые сами были не чем иным, как балаганом. По правде говоря, самое выражение „веселый Эндрю“ (выражение, синонимичное слову „балаганщик“)

пришло к нам от одной диковинной персоны шестнадцатого века — человека, который, хотя и был изрядным ученым, искусным врачом (по меркам тогдашней медицины), тонким политическим агентом и преподобным священником, не считал несовместимым с собственным достоинством рядиться арлекином, дуть в трубу с уродливо разрисованной повозки и сыпать целый час кряду веселый вздор и умное непотребство с публичного помоста толпе разинувших рот деревенщин или дерзких горожан — чтобы тем выгоднее сбывать свои пилюли и микстуры восхищенным слушателям.

Если хранящаяся поныне в наших государственных архивах бумага указывает на политические услуги, оказанные Кромвелю Генриха VIII „Эндрю Бордом, священником“ (Andrew Boorde), то „Диалог между Болью и Хирургией“ (Soarnes and Chirugi) Уильяма Буллейна удостоверяет, что тот же Эндрю Борд — отец „веселых Эндрю“ — „писал изрядно о врачебном деле, на общую пользу“.

Но хотя медицина медленно подвигалась вперед от учреждения коллегии Линакра до времени, когда Бэкон писал о преуспеянии наук, и от эпохи, когда Майерн лечил ипохондрию и подагру мышиным бальзамом и порошком из человеческих костей, до поры, когда Сиденгам в приступах своей частой подагры сиживал у открытого окна своего дома на Сент-Джеймсской площади, жадно хлебая слабое пиво из серебряной кружки в убеждении, что это самый прохладительный и во всех отношениях самый целебный напиток для страждущих его особой немощью, — не должно думать, будто ничего не делалось для того, чтобы поднять медицину из тьмы средневекового шарлатанства и избавить ее от порицания, вынесенного столь компетентным критиком, как Фрэнсис Бэкон. За три года до смерти Майерна Коллегия врачей поставила в своем зале статую доктору, пережившему Майерна на два года и три месяца, — тому тонкому наблюдателю, о котором были когда-то сложены стихотворные строки:

Круговорот кровей, что мнился лужей алой —

(то ль жизни топливо, то ль телу пища-отрада), —

Гарвеево спасет от мрака забвения имя.

Великий человек никогда не бывает одинок в своем величии. Он мог возвыситься над своими современниками и превзойти их, но при ближайшем расспросе всегда окажется, что были у него спутники, походившие на него дарованием и целью, складом своих способностей и теми целями, на которые они их употребляли. Цвет медицинских современников Гарвея походил на него тем, что все они были наблюдателями бэконовской школы; за ними шло и идет все растущее войско наблюдателей и умозаключателей, которые, трудясь бэконовским методом, собрали факты и пришли к тем выводам, которые позволяют нынешним практикам медицины столь точно распознавать природу скрытой болезни, столь верно предсказывать ее ход и при каждом повороте столь успешно лечить ее. Тем врачам старых времен и их преемникам мы обязаны тем, что в наше счастливое время беднейший крестьянин глухой деревушки имеет у своей постели медика, более сведущего в пределах своего особого призвания и более способного бороться с теми недугами, которым подвержен человеческий род, чем любой из тех врачей, что ускоряли последние страдания Карла II или, толпясь у смертного одра королевы Анны, осыпали друг друга язвительными речами.

К тому же следует помнить, что если Бэкон писал пренебрежительно об их особой науке и лечебных приемах, то он питал самое высокое уважение к уму и культуре врачей, с которыми сводила его жизнь, и к их рассудительности в вопросах, лежащих за пределами их собственного поприща. Говоря о разносторонних познаниях и способностях елизаветинских врачей, он замечает между прочим: „Ибо среди них вы найдете и древников, и поэтов, и гуманистов, и государственных людей, и торговцев, и богословов“. Такое свидетельство от столь весомого свидетеля само по себе спасло бы нас от ошибки судить об этих докторах по одним лишь их

рецептам. Но есть и избыток подтверждающих доказательств того, что, согласуясь в профессиональных делах теорией и практикой с общепринятым мнением, они держались людей света и ведения во всех прочих предметах.

История симпатического порошка сэра Кенелма Дигби позволяет нам, обозревая науку и практику врачей семнадцатого столетия, понять, во что верили — или были готовы верить — их более образованные пациенты касательно болезни и ее лечения. Свой знаменитый порошок сэр Кенелм изготовлял следующим образом: растворив купорос в теплой воде, он процеживал этот раствор и оставлял его на воздухе испаряться, пока на поверхности не покажется тонкая пленка. Плотно прикрытый, раствор этот хранился в прохладном месте два-три дня, после чего выпадали красивые зеленые кристаллы, которые выставляли в большой плоской глиняной чаше на солнцепек собачьих дней, пока солнце не прокалит их. Прокаленные, они грубо толклись в порошок, снова выставлялись на солнце для дальнейшего прокаливания и снова клались в ступку для дальнейшего растирания. Обработка эта повторялась снова и снова, пока кристаллы не обращались в тончайший из возможных порошок, обладавший поистине дивными свойствами. Будучи хорош для многих надобностей, порошок этот особенно действен был для исцеления ран. Если кусок одежды раненого, испятнанный кровью из раны, обмакивали в воду, содержавшую в растворе часть этого чудодейственного порошка, рана страдальца тотчас начинала заживать — и не важно было, сколько времени прошло с момента ранения и как далеко отстоял страдалец от места, где клочок окровавленной одежды был погружен в симпатический раствор. Пациент мог умирать в Париже или Мадриде, а кусок испятнанного полотна или бархата мог подвергаться своей операции в Лондоне. Не требовалось, чтобы пациент верил в это лекарство, или даже чтобы он знал, каким образом его исцеление совершается на расстоянии тысячи или какого угодно числа тысяч миль.

Случайно наткнувшись однажды на двух своих приятелей, дравшихся между собой на шпагах в дуэли, Джеймс Хоуэлл (James Howel), автор „Дендрологии“, с наилучшими побуждениями и с самыми неудобными последствиями встал между дуэлянтами и попытался их разнять. Непосредственным итогом этого вмешательства было то, что мистер Хоуэлл удалился с поля с руками, дурно изрезанными шпагами дерущихся. Пять дней спустя, когда руки его были в столь плачевном состоянии, что хирурги опасались, как бы раны не пошли гангреной, мистер Хоуэлл прибег к сэру Кенелму Дигби — рыцарю, которого панегиристы любили величать „джентльменом, совершенным во всех отношениях“, что бы это ни значило. Взяв у гостя подвязку, испятнанную кровью раненых рук, сэр Кенелм — не дав страдальцу ни знать, ни догадываться о том, что затевается, — бросил предмет туалета в сосуд с купоросным раствором. Исцеление подействовало мгновенно. „Что с тобой?“ — вскричал сэр Кенелм, увидев, что пациент вздрогнул с видом смешанного удивления и отрады. „Не знаю, как это вышло, но вся боль покинула мои руки“, — был ответ. „Мне мнится, что некая приятная свежесть, словно бы холодная салфетка, сменила то воспаление, которое минуту назад меня терзало“. „Добро, — отозвался рыцарь, совершенный во всех отношениях. — Тогда выбрось лекарства и пластыри и только смотри, чтобы раны были чисты“. Вместо того чтобы, как подобало бы благоразумному больному, отправиться домой, мистер Хоуэлл тотчас пустился бегать по городу, рассказывая всем знакомым о дивном происшествии. Когда до него дошла сплетня, ходившая среди придворных, герцог Бекингем поспешил к сэру Кенелму Дигби, чтобы дознаться точной правды обо всем этом деле. Угостив герцога обедом, сэр Кенелм, желая продемонстрировать ему силу своего порошка, вынул подвязку из раствора и на глазах у его милости высушил ее у огня. Едва она высохла, как в комнату вбежал слуга мистера Хоуэлла с известием, что руки его хозяина хуже прежнего — да что там: горят, будто зажаты между горящими углями. Слуга был отпущен с уверением, что, вернувшись к хозяину, он найдет раны безболезненными и свободными от воспаления, и сэр Кенелм опустил подвязку обратно в раствор — с итогом, вполне удовлетворительным для мистера Хоуэлла и его слуги. В течение следующих шести дней в

лучших домах лондонского Якова I не говорили почти ни о чем, кроме случая мистера Хоуэлла и порошка сэра Кенелма. Король Яков требовал целую серию бюллетеней, сообщающих ему самую быструю весть о каждой перемене в состоянии пациента; а когда исцеление завершилось, его величество с успехом упросил сэра Кенелма открыть ему, как делается порошок. Если ему можно верить, сэр Кенелм выучился делать симпатический купорос у французского философа, описавшего процесс в речи, произнесенной перед „торжественным собранием дворян и ученых мужей в Монпелье, во Франции“. Каково бы ни было доверие или недоверие, которых достоин рыцарь, достоверно одно: образованное английское общество некоторое время верило сэру Кенелму и его порошку так же охотно и всеобще, как необразованные люди нынешнего времени верят любому обману дня, который их потешает и пленяет.

Свидетельств этому более чем достаточно: врачи прежних поколений, лишь уподобляясь самым умным своим пациентам в легковерии по части медицины, по умственной деятельности и общей культуре были в ладу с самыми светлыми и отборными духами своих времен. Немалая часть наших литературных анналов касается достоинства врачей, их книжных занятий и их сердечной близости с мужами, подарившими нам лучшую нашу литературу. Если Каюс и фигурирует нелепо в „Виндзорских проказницах“, то д-р Баттс (первый из наших медицинских рыцарей) играет в „Генрихе VIII“ Шекспира роль отнюдь не недостойную. Буллейн, Джерард (травник) и Тернер — любимые авторы всех, кто радуется нашей ранней печатной словесности.

Хотя он навлек на себя порицания сэра Кенелма Дигби, чьи „Наблюдения на „Религию врача““ Кольридж метко назвал наблюдениями педанта, писания сэра Томаса Брауна до сих пор вмещают благодарное внимание либеральных и разумных читателей. Прежде чем снискать себе нетленную славу философскими сочинениями, Джон Локк следовал врачебному поприщу. Хотя стихи, которые он слагал под грохот колес собственной кареты, и возбуждали насмешки остроумцев, поэзия сэра Ричарда Блэкмора перестает быть постыдной, когда смотришь на нее просто как на забаву занятого доктора. Хотя он и был мишенью язвительной эпиграммы:

В лекарском деле и в фарсах равных ему нет:

фарсы его — лекарства, а лекарства — смех, —

сэр Джон Хилл произвел на свет несколько полезных книг, из которых одна выдержала десятки изданий и снискала такую всеобщую и прочную славу, что без всякого преувеличения можно сказать: она и поныне живет на устах образованных людей.

Сиденгам знал литературу шире, чем то мнится множеству людей, помнящих его главным образом по пикантному ответу, каким он отделался от обращения Блэкмора за советом о том, какие науки изучать, чтобы надеяться подняться от позора неудачливого школьного учителя к той чести, какая окутывает успешного врача. „Читайте „Дон Кихота“; это очень хорошая книга; я читаю ее до сих пор“, — сказал великий доктор, в раннюю свою пору бывший ротмистром кавалерии и обязанный своим последующим возвышением не в малой степени тем знанием света, какое было вынесено им с военной службы.

По всей вероятности, в признании Рэдклифа, что он презирает Гиппократа, было не больше правды, чем в притворстве Сиденгама, приписывавшего свои медицинские успехи Сервантесу. Когда Рэдклиф, под конец своей неимоверно успешной карьеры, нанес первый визит молодому врачу, которому суждено было со временем унаследовать большую часть его практики, он, говорят, застал Мида читающим Гиппократа. „Хм! Вы читаете Гиппократа по-гречески?“ — спросил гость тоном, из коего никак не явствовало прилива добрых чувств к юноше, проводящему свой досуг столь непроизводительно. „Изредка“, — отвечал Мид, всячески преуменьшая свою провинность интонацией, с какой произнес осторожно подобранное слово. „Хм! Я не прочел от него ни единой строки ни на каком языке“, — проворчал великий человек. „А вам, сударь, и не к чему; вы сами — Гиппократ“, — отозвался искатель профес-

сиональной славы, почти в тот же миг увидев, что комплимент произвел желаемое действие. Именно таким притворством Рэдклиф снискал себе дурную славу, из-за которой Гарт воскликнул, будто оставить Рэдклифу деньги на учреждение библиотеки — все равно что скопцу заводить себе сераль. Нельзя полагать, что врач, бывший стипендиатом Линкольн-колледжа и в раннюю свою пору в Оксфорде ставший старшим ученым Университетского колледжа, не умел читать по-гречески, или что человек его энергии и проницательности в самом деле довольствовался комнатой для занятий, где не было ничего достопримечательного, кроме нескольких склянок, скелета и травника, на которые он обратил внимание д-ра Батерста, хвастливо восклицая: „Вот библиотека Рэдклифа!“

Притворство школьного невежества не было ни его единственной, ни самой неприятной манерностью. Способный на великодушную щедрость, он находил удовольствие в том, чтобы притворяться скупцом. Нисколько не скудный добротой, он любил убеждать свет, будто ему недостает самой простой человечности. Не лишенный великодушия, он с наслаждением играл циника даже в наименее суровые свои минуты — как тогда, когда воскликнул к своему особому любимцу из всех восходящих докторов: „Мид, я вас люблю и открою вам верный секрет составить состояние: поступай дурно со всем человечеством“. В лучшие свои минуты — человек сердечной обходительности и приятного обращения — он был притчей во языцех и среди своих личных знакомых, и среди тех, кто знал его только понаслышке, — за дерзость обхождения и грубость речи. Не диво, что человек, столь старавшийся изобразить себя не тем, что он есть на самом деле, был почти всеобще понят превратно. Не диво и то, что Мандевиль принял его за раздутую карикатуру на все самое низменное и презренное в человеческой природе и приписал пошлому тщеславию ту волю, которая подарила Оксфорду библиотеку, лечебницу, обсерваторию и путешествующие стипендии, носящие имя врача. Не диво также — дерзость ведь рождает дерзость — что этот высокомерный доктор часто встречал равного себе, а то и нечто большее, чем равного себе, в невежливости. Когда они перессорились о двери в стене, разделявшей их смежные сады на Боу-стрит, Рэдклиф получил от сэра Годфри Кнеллера сдачу сторицей: он послал к нему слугу с приказом: „Скажите сэру Годфри, что он может делать с дверью что угодно, только не красить ее“. „Ступайте назад, — сказал художник с восхитительным остроумием и совершенным добродушием, — и, передав мое почтение доктору Рэдклифу, скажите ему, что я возьму от него все, что угодно, кроме его лекарств“.

Еще удачнее был ответ ирландского мостовщика на поток брани, излитый на него раздражительным врачом за то, что тот счел дурной работой мостовую перед собственным домом доктора. „Что, негодяй, — вскричал доктор, — у вас хватает дерзости требовать платы за такую работу? Вы испортили мне мостовую, мошенник, а потом засыпали камни землей, чтобы спрятать дурную работу“. „Ей-ей, ваша честь, — отвечал работник, — не вашей чести говорить, что моя работа — единственная дурная работа, которую прячет земля“.

Сэмюэл Джонсон был того мнения, что мало добра вышло из путешествующих стипендий. „Не знаю, — сказал он Босуэллу, — ничего, что было бы ввезено ими“. Но если они и сделали мало добра, то столь же достоверно, как что-либо в делах человеческих, что учреждены они были в надежде сделать добро. Мандевиль, писавший под раздражением, данным ему самым предметом его порицания, заслуживает прощения за несправедливость к врачу, но на таком расстоянии от времени, когда едкий язык доктора создал ему армию врагов, ни одна великодушная натура не согласится с мнением философа о завещаниях, оставленных в пользу Оксфорда. Тем легче простить Рэдклифу его многочисленные проступки против добрых чувств и его пренебрежение изящной словесностью, что его окружали и шли следом за ним врачи, в избытке заботливые об удобствах жизни и вместе с тем с честью памятные за литературные труды, послужившие славе их профессии. Гарт, Фринд, Ганс Слоан, Арбутнот, Мид, Акенсайд, Армстронг, Грейнджер, Монси и Леттсом — из самых видных в длинном списке ученых врачей, которые между концом семнадцатого и началом девятнадцатого столетия укра-

шали собой лондонские литературные кружки и делали наших литераторов и последователей медицины единым братством. Если Оливер Голдсмит и не был врачом, то он был достаточно доктором, чтобы его называли рядом с поэтами врачебного сословия. Право Смоллетта на место в этой корпорации — или, вернее, право докторов почитать за честь числить его своим — еще прочнее первого.

Из этой толпы докторов, живших в близком общении со знаменитыми писателями — остроумцами, не бывшими врачами, — никого не вспоминают с большим удовольствием, чем Сэмюэла Гарта, который в „Амбулатории“ (The Dispensary), поэме, имеющей право на некоторое внимание по своим литературным достоинствам и притязающей на большее уважение как на занимательный памятник самой яростной распри наших медицинских анналов, писал о своих профессиональных современниках и об их коллегии:

Недалеко от места, что всякий знает, —

Где правосудье грозный лик являет,

Где мелкий жулик должен судьбе сдаться,

Чтоб знатный мог миром наслаждаться, —

Там купол высится, взору величавый,

И свод овальный несут арки державные;

Шар золотой, с искусством к небу взнесен,

Издали пилюлей золоченою виден.

Дом тот, по благочестивой мысли покровителя,

Воздвигнут для дела, славного, как сама обитель;

И не отказывалось общество ученое

Служить распространению великого замысла:

Во всех лабиринтах взор следил Природу

И, лишь она скрывалась, шел в погоню.

Богиня спит — ночная тень темней теней,

Но для ученых снимет темный свой наряд,

И сторонится толпы простых очей.

Чтобы осмотреть то, что осталось от этого величавого дома, читателю этих строк придется совершить небольшую вылазку в Уорик-лейн. Построенная после Великого лондонского пожара, выгнавшего врачей из их пристанища в Амен-Корнер, — из того пристанища, куда корпорация перебралась, найдя старый дом Линакра на Найтрайдер-стрит слишком тесным для своего растущего достоинства и умножившихся нужд, — коллегия, со всем ее куполом,

пышными арками и всем строительным убранством, перешла в руки мясников Ньюгейтского рынка, когда врачи переселились в нынешний свой дом на Ист-Пэлл-Мэлл, — участь, которая, по мнению некоторых лиц, приличнее постигла бы старый Зал хирургов в той же части города. С тех пор как мясники вступили во владение, это место, без всякого сомнения, слышало больше шума, чем когда-либо слышало, будучи обителью науки, но вряд ли с 1825 года укрывало оно более свирепых спорщиков, чем те, что поднимали свои голоса в его покоях в пору диспенсарианской распри.

Никогда еще более лютая распря не вырастала из столь малой причины. Сперва единственным предметом спора было то, должна ли коллегия открыть амбулаторию при собственном своем доме и, прописывая бедным даром, продавать им прописанные лекарства по себестоимости. Это предложение, при всем своем виде разумного и достохвального великодушия, никак нельзя назвать проистекавшим из совсем бескорыстной любви к ближнему. Со дня самого основания в 1670 году Зала аптекарей на Уотер-лейн некоторые из врачей смотрели на него с подозрением и горечью. Среди выпускников коллегии шептались, что торгаши из Зала делаются слишком сильны, посягают на привилегии врачебной корпорации и с каждым днем делаются все мятежнее против благотворной власти своих начальников в Уорик-лейн. Нельзя было отрицать, что торговцы лекарствами, не искав никакой лицензии ни у коллегии и не получив ее от нее, присвоили себе право прописывать для беднейшего сорта пациентов, тогда как аптекари были учреждены лишь для того, чтобы изготавливать рецепты законных врачей и коллегиальных лицензиатов по таксам, установленным той же коллегией. А было то оттого, что ненавистные аптекари Зала брали с бедных так дорого за изготовление врачебных рецептов, что неимущие больные никак не могли достать прописанных им лекарств. При таких обстоятельствах те врачи, которые вскоре получили имя диспенсарианцев, и предложили открыть амбулаторию в том самом месте и для той цели, что уже указаны. Врачи, противившиеся этому замыслу, называвшие себя антидиспенсарианцами, с жаром — излишним, если бы от исхода борьбы зависело благоденствие всей нации, — утверждали, что диспенсарианцами движет низкая зависть к аптекарям, что они сделали благотворительность прикрытием своей корысти и злобы и домогаются низвести коллегию до простого союза торговцев. Разумеется, диспенсарианцы отвечали, что их противники внутри коллегии пресмыкаются перед могущественными аптекарями и выслуживаются перед ними. Это отнюдь не была простая ссора двух групп врачей, ибо аптекари настаивали на том, чтобы их выслушали в деле, затрагивающем их интересы и их честь. Вышла славная свара, треугольная дуэль между врачами-диспенсарианцами, врачами-антидиспенсарианцами и аптекарями.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.